

Журнальные очерки

это и ограничивается заслуга „Нового Слова“. Для изучения культурных слоев русского общества у него нет ни талантливого критика, ни выдающихся беллетристов. На самом деле, на что похожа критическая оценка г. Скабичевским Влад. Ив. Немировича-Данченко, которому критик выражает свою похвалу в следующих словах: „Если жизнь наша топчется на одном месте, не делая ни одного шага вперед, и способна вырабатывать одних Алмазовых и Думчиных, то что же делать беллетристу, заботящемуся о том, чтобы верно изображать жизнь? Что у кого болит, тот о том и говорит. А что же касается до азбучной элементарности идей, проводимых Вл. Ив. Немировичем-Данченко, то разве все вышеизложенные прискорбные факты и явления жизни не свидетельствуют о том, чтобы мы совсем забыли эти трюизмы. Что же делать с людьми, забывшими азбуку? Начать с ними снова с азбуки“. В том то и дело, что жизнь не топчется на одном месте, а ушла значительно дальше наших беллетристов, которые продолжают все еще возиться в старых сентиментах, разработанных до них гораздо полнее и лучше, и совершенно не в состоянии следить за новыми характерами и вкусами современного общества. Не менее любопытна аттестация, сделанная г. Скабичевским и Мамину-Сибиряку. Он его поставил выше Короленки, Чехова, Потапенки и даже Золя. Он пишет: „По моему же мнению, Д. Н. Мамин, если не превышает означенных писателей по художественному таланту, то по широте захвата жизни, по обилию, разнообразию и значению явлений действительности, типов, характеров, какие вы встретите в несметной массе его произведений, наконец, по той глубине, какую обнаруживает он в осве-

щении изображаемых явлений,—едва ли он имеет равного себе в нашей современной отечественной литературе“.

Не смотря на несомненное дарование г. Маминна едва ли ктонибудь разделил такую „услужливую“ похвалу ему...

По беллетристике, в „Новом Слове“ обращает на себя внимание „Забывший пономарь“ г. Потапенко, хотя этот теплый рассказ из быта духовенства ничего не прибавляет к лестной репутации Потапенки, когда он в своей сфере с попами, дячками и пономарями. Его повесть „На действительной службе“ и этот „Забывший пономарь“—рисуют нам исполненные действительной любви к ближним типы духовенства в противоположность „консисторским“. После реформы об уничтожении при сельском причте должности пономаря, последний не был прогнан из церкви у г. Потапенки, а продолжал служить в ней также, как и ранее, пользуясь ничтожным вознаграждением, выдаваемым ему добровольно священником и дяконом. Так этот пономарь и жил вблизи добрых людей; но когда на место старого священника поступил последний реформенный, то этот повел службу по штату: дякона переименовал в псаломщика, а пономаря прогнал... Быть этих людей и их характеры обрисованы очень живо, и маленькая драма местного причта трогает читателя.

Конечно, „Забывший пономарь“ даже слабее по значению „Генеральской дочка“, которую г. Потапенко мог бы отлично перенести в бытовую драму на Панаевский театр, с сильным движением и значительными характерами. Но все таки его „Пономарь“ неизмеримо выше новоявленных талантов в „Новом Слове“ в роду И. Бунина с его „Байбаками“. Здесь уже одна картинка или, правильнее, рассказ для картинки, как это

практикуется в иллюстрированных изданиях. Об этой характерной черте новейших беллетристов, в подражание талантлившему из них Ант. Чехову, стоит поговорить.

В настоящее время, на выставках картин появляются „опыты“, эскизы, наброски вечерней всевозможных работ и не появляются вполне законченные, доведенные до совершенства картины, исчерпывающие собою все думы и симпатии художника; а между тем и кухонная пачкотня, и запах ея свидетельствуют о том или другом блюде... То же самое и эскизы—это слабый намек на шедевр—способствует настроению и даже может быть сам по себе красив. На подобие этих „опытов“ русской живописи, за последнее время развивается и наша беллетристика.

„Нет ли у вас маленького рассказца?“—спрашивают все издатели литераторов. Так, маленького... На лист или полтора? Этот спрос на маленькие рассказы породил и писателей с воробьиным носом. В литературном мире ходит анекдот о том, как один из знакомых Л. Н. Толстого привез к нему сочинения Ант. Чехова и просил дать о них свой отзыв. Толстой прочел внимательно несколько рассказов и затѣм возвратил остальные книги Чехова неразрѣзанными.

— Для меня, — будто бы сказал при этом Лев Николаевич, — совершенно ясно, почему Чехов написал в одной петербургской газете тысячу рассказов. Он напишет их еще десять тысяч, и все они будут не хуже первых... При некоторой талантливости можно каждый вечер писать по такому рассказу. Но так вяжут бесконечныя, красивые кружева, а не готовят общество к христианскому идеалу“.

„Байбаки“ Бунина—совершенный пей-

„Гласность: СПб., 1897, 30 января, № 30, с. 2.

Журнальные очерки

зажъ мрачнаго колорита. Въ одинокомъ хуторѣ живетъ разоряющійся 70 лѣтъ баринъ, севастопольскій герой, и къ нему ходитъ въ гости такого же возраста деньщикъ той же крымской кампаніи. Незвѣстно, почему въ эти годы они названы „байбаками“; но, тѣмъ не менѣе, судьбу барина г. Бунинъ горько оплакиваетъ. И баринъ, и деньщикъ сидятъ въ холодныхъ комнатахъ и ждутъ кучера „Судака“ изъ города; и затѣмъ, иззябнувъ, колятъ тоноромъ стулья на растопку камина. Баринъ временами поетъ грустный романсъ: „Что-жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?“, наконецъ, оба старичка вскакиваютъ и говорятъ между собой о запоздаломъ кучерѣ:

— Избавь Богъ, плутаетъ... Въ рогъ бы по-трубить... на всякій случай... Можетъ быть, Судака въдетъ. Вѣдь замерзнуть то недолго. По человечеству надо судить. Намъ хорошо тутъ сидѣть!

Черезъ минуту старики стоятъ на крыльцѣ. Вѣтеръ рветъ съ нихъ одежду. Дико и гулко заливается старый звонкій рогъ на разные голоса. Вѣтеръ подхватываетъ его звуки и несетъ въ непроглядную сѣнь въ темноту бурной яочи.

— Гопъ-гопъ!—кричитъ Яковъ Петровичъ.
— Гопъ-гопъ!—вторитъ Ковалевъ.

И долго потомъ, настроенные на героическій ладъ, не унимаются старики.

Несомнѣнно эта картина просится на полотно и свидѣтельствуеетъ о художественной силѣ автора.

Наконецъ, они укладываются спать. Одинъ подъ утро видитъ себя во снѣ въ гостяхъ у турецкаго султана, а другой перебиваетъ его:

— Нѣтъ, это что—у турецкаго султана! Вотъ я сейчасъ видѣлъ... Вѣрите ли? Одинъ за другимъ, одинъ за другимъ... съ рожами, въ пиджачкахъ... малъ-мала меньше... Да вѣдь какого транташа около меня раздѣлываютъ!

Въ это время вѣтеръ повалилъ на крышѣ трубу, и авторъ меланхолически замѣчаетъ: „это плохой знакъ: скоро, скоро, должно быть, и слѣда не останется отъ хутора Лучезаровки!“

Все это весьма возможно, но только къ чему это авторъ нагоняетъ меланхолію на читателя? Что тутъ описывать и чѣмъ тревожиться? Въ семьдесятъ лѣтъ и баринъ, и слуга плохо хозяйничаютъ и разоряются, но хорошо подаютъ сигналы изъ рожка на хуторѣ въ зимнюю стужу, а еще лучше рассказываютъ другъ другу свои безкопечные сны. Это вѣдь не глубоко-философскій рассказъ: „Хозяинъ и работникъ“ То не пейзажъ! Картинка одинокой старости у г. Бунина очень живая, возможная при любой социальной обстановкѣ, она является въ то же время показателемъ того, чѣмъ занятъ самъ авторъ въ наше богатое интереснѣйшими явленіями время, и какъ это время съ новыми людьми идетъ мимо писателя, не оставляя въ его душѣ ни одного образа послѣдней формации. То-то и досадно, что талантъ у него нѣтъ, а нѣтъ серьезной школы, которой бы онъ слѣдовалъ. Ничего нѣтъ ужаснѣе той проповѣди въ современной литературѣ, что наши корифеи не выработали никакой школы и что нужно искать въ искусствѣ какихъ-то новыхъ формъ, новой мозговой линіи и что истинный талантъ не признаетъ никакихъ правилъ, и ему необязательно идти въ уровень съ жизнью, хоть на шагъ опередить ее... Между тѣмъ, извѣстно, что, благодаря школѣ, талантъ можетъ или уродливо развиваться, или, благодаря иной школѣ, станетъ олицетворять и психологію, и общественность въ яркихъ и живыхъ образахъ. Какой же школѣ слѣдуетъ г. Бунинъ? Самоновѣйшей... Эта школа усвоила только первое положеніе въ искусствѣ о необходимости быть вѣрнымъ жизни; но послѣдователи ея забыли, что можно вѣрно изобразить никому неинтересныхъ „Байбаковъ“ и также вѣрно изобразить вообще современный упадокъ жизни въ связи съ яркими ея типами. Въ первомъ случаѣ писатель остается вѣрнымъ

жизни, но его произведенія не бросать въ общество плодотворной мысли этой жизни. Сборникъ рассказовъ г. Бунина подтверждаетъ наше о немъ мнѣніе. Посмотрите на обложку его „Сборника: тамъ тянется обозъ переселенцевъ „на край свѣта“, а позади оставшаяся деревня и осиротѣлый въ ней дѣдъ. Не имѣетъ силъ идти за земляками въ неизвѣстную даль. Къ этой именно картинѣ на обложкѣ книги, г. Бунинъ написалъ вѣчно талантливо свой рассказъ на двѣнадцати страничкахъ: о томъ, какъ мужикомъ бѣсть на родинѣ нечего, и они покинули деревню; какъ расположились они въ нѣтъ на ночлегъ и какъ одніе звѣзды знаютъ только „святое человѣческое горе“... О переселенцахъ „на край свѣта“ съ ихъ трагедіей въ будущемъ вы ничего не узнаете, но ихъ сборы и уходъ съ наскоро устроеннаго мѣста, описаны авторомъ такъ. О, еслибы только въ этомъ было дѣло „какъ написать“, а не „что“—то мы ничего не могли бы возразить г. Бунину, затронувъ переселенческій вопросъ, нельзя ограничиться только описаніемъ его стороной. А именно этой стороной всѣ рассказы Бунина и хороши: „Внѣкъ съ родины“—на тему о томъ, какъ встревоженъ былъ интеллигентъ писемъ по поводу голодной смерти въ его деревнѣ; „На чужой сторонѣ“—сценка съ мужиками на вокзалѣ; „На Донцѣ“—личныя лирическія воспоминанія автора объ историческихъ судьбахъ Дона и т. д. Каждый изъ рассказовъ на пяти и шести страничкахъ, точно писалъ ихъ талантливый школьникъ, а не настоящій литераторъ.

А—И.